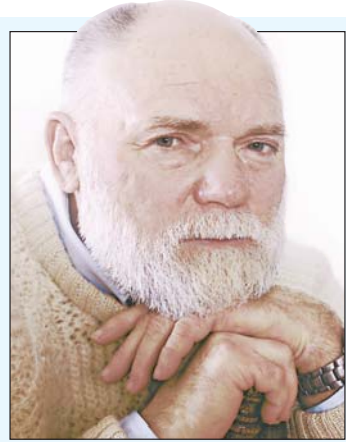


**ВИКТОР
СЛИПЕНЧУК**

ПОХОРОНКА



Учась на Высших литературных курсах (1983 – 1985) предложил этот рассказ журналу «Новый мир», но мне отказали, ничем не мотивируя отказ. Больше никому не предлагал. Пришло понимание, что в редакциях приветствуют правду приподнятую, красивую, а здесь правда другая. Но без неё невозможно верить в ту, приподнятую. Поэтому и предлагаю свой рассказ в канун дня начала войны с фашистской Германией.

МАРИЯ Васильевна Вострикова, безграмотная женщина, мать четверых детей (все дочери), получила письмо. Писал зять Фёдор, она поняла это по каракулям, прыгающим во все стороны, а потому ей особенно знакомым. Раньше почти всегда писал племянник Юра, а тут... Может, с Матрёной что?.. Мария Васильевна осторожно, точно своей неловкостью могла причинить боль конверту, опасливо оглядела его и совсем расстроилась. Не такой Фёдор грамотей, чтобы писать зазря, видно, передоверить не мог.

Мария Васильевна положила письмо на комод и, сев на лавку, задумалась, но не о старшей сестре, а о своей жизни, которая, как она полагала, была, в общем-то, ничего, а может быть, и хорошей. Будь её Степан рядом, она бы не сомневалась, а точно бы знала, что хорошей. Ведь, не в пример той же Матрёне, работает не в колхозе за палочки трудодней, а в Доме офицеров. Уборщица, а продовольственный паёк получает ровно офицер какой или жена офицера. В душе потеплело, она почувствовала гордость за свой достаток, ей казалось, что большой. Дети одеты, а что впроголодь, то нынче все впроголодь, такая война прошла, кругом поруха. Она вздохнула: да, будь её Степан с нею, она была бы довольна жизнью.

Мария Васильевна вспомнила недавний сон: Степан вошёл в избу улыбающийся, в солдатской гимнастёрке, подтянутый, даже бравый, как на последней фронтовой фотографии, когда, пополняясь, они стояли в резерве. Вошёл, поставил на стол туго набитый вещмешок и давай одаривать детей: консервами, сахаром, галетами. А когда пришёл её черёд – вытащил тёмный кашемировый платок, по краю не то в цветах, не то в красных яблоках, – Мария Васильевна подумала – для неё, встала, счастливо улыбаясь, поставила плечи, а он на вещмешок накиннул. И тотчас из него выросла большая, величиною с шапку, жаба. Кольхаясь, как студень, пучеглазо высунулась, подобрала под себя лапками концы платка и замерла – любуйтесь. Степан рад-радешенек, потянулся к ней и ну бережно так ласкать и целовать её. Дети глядят, смеются и как-то нехорошо, со значением перемигиваются, будто взрослые. Марию Васильевну в озноб бросило – Степан!

Очнувшись и от внезапной мысли – нет Степана, похоронка, погиб – впервые ощутила не сухую застарелую боль, а мягкое, прокатившееся волной облегчение. Потом опомнилась, почувство-

вала себя виновной перед ним, тихо, одними губами, чтобы не разбудить детей, помолилась, испрашивая прощения за свою слабость. Мария Васильевна искренне боялась, что где-то там, где правит высшая справедливость, её эту минутную слабость зачтут против Степана. А он-то всегда с нею, никогда-то сердцем она не верила в похоронку и сейчас, спустя почти пять лет, не верит. Мало ли бывает чего?.. Дети, достаток – всё он, Стёпушка. И, как тогда ночами она поверяла ему свои заботы, так и теперь, сидя на лавке, в мыслях советовалась с ним:

«Все дети большеенькими стали. Танюшка в школу пошла. Годами самая младшая, а костью – широкая, видно, в тебя, Стёпа, вот-вот Аннушку догонит. А ведь Аннушка на два года с лишком поболее будет. Марьюшка в шестой пошла – пионерка, серьёзная, строгая. Младшие, те – пошались бы им, а её слушаются. Я и то маленько побаиваюсь её, всё помнит, всему подсчёт и расчёт – хозяйка. Я недавно купила им пряников и леденцов. Леденцы – розовенькие петушки на палочках, точь-в-точь такими ты угощал меня на ярмарке. Увидела их и позабыла всё... Прихожу домой, Анька и Танька, те, конечно, обрадовались и петушкам, и пряникам, схватили – и на улицу – хвастать, а на Марьюшку взглянула и обмерла: до зарплаты, почитай, ещё неделя целая, а я все деньги ухлопала. Достала Марьюшка этот свой блокнотик из газетных полосок, я сама вы-



резаю их из всякого остатного мусора и приношу ей. Говорю: дарят мне. Ну кто такое добро дарить-то будет? А для неё – богатство, она верит, дитё ещё. А тут как давай мне выговаривать и отчитывать, ну ровно малого ребёнка: ты что такое, мамка, делаешь, комбижиру нет, того и того нет, ужели петушки хлеб али сечку какую заменят? Своим востреньким карандашиком нырнула в блокнотик и вычеркнула меня, мол, не мамка ты нам, иди гуляй на все четыре стороны. Озлилась я, грех попутал. Кто ты такая, чтобы родной матери устраивать расчёт?! Потянулась за пояском, а она как увидела – ничком на пол. Я такая же, как и ты, – все говорят, и звать меня так же. И в слёзы: такой, как ты буду, не хочу учиться, я тоже петушков хочу. Бей меня, бей, всё равно не пойду в школу, работать пойду и тоже буду петушков исть. Растерялась я, благо Людмила с работы пришла. Она у нас девка – огонь. Влетела, будто ветер. В кого она такая, всё чтоб по её, иначе – берегись, сверкнёт

глазищами – прямо страх схватывает. Они-то у неё чёрные – чудно, только недавно углядела, всё блазилось – тёмно-синие. Это от того, что белки голубым-голубые и косы, будто лён золотой, всё с синью сличались. Подняла она Марьюшку и обмеры ей – не реви, в школу в обнове пойдёшь. Перевели меня, мамка, с учениц и деньги выдали. Заведующий самолично обещал через год в город послать на закройщицу. Побайвается он, как бы рисозаводские не сманили меня, говорит, вкус у вас, Людмила Степановна, редкой художественности. Петушкам обрадовалась, закружила по комнате – я с вами вальс танцую. Танюшку на руки, а Марьюшка и Аннушка – им лишь бы подержаться за Людмилу, очень они надеются, что такими же, как она, будут. Есть, есть в ней обворожительность, в последнее время зачастила мне помогать, и уже начальник Дома офицеров приветы передаёт. Киномеханик на дом приходил. Недавно предложили мне подрабатывать, киноконтролёром. Это они всё для Людмилы стараются, хотя с этого боку в доверие попасть, она-то не шибко с ими...»

Мария Васильевна услышала стук калитки, подхватила: уже Танюшка из школы, дел сколь... Она сунула конверт за рамку с семейными фотографиями, торопливо надела плюшевую жакетку и, на ходу завязывая платок, выбежала на крыльцо. Танюшка обрадовалась, что застала мать. Точно почтальонша, сдвинула холщовую сумку набок: смотри, по твоему главному уроку пятёрку отхватила. Раскраснелась, Мария Васильевна увидела в тетрадке по чистописанию три ровные строчки палочек,

а под ними – большую красную пятёрку.

– Молодец, Танюшка, – похвалила Мария Васильевна и, видя, что дочь не может налюбоваться пятёркой, повторила: – Молодец, такую большую зазря не поставят, надеются на тебя.

Танюшка застенялась, пряча тетрадку, наклонилась над сумкой, Мария Васильевна заметила, что от удовольствия у неё покраснели даже уши. Она наказала дочке поглядывать в стайку за стельной козой Машкой-кормилицей, а придёт Марьюшка – пусть сообщит принимаются за уборку. Она маленько задержится на работе, её попросили вымыть учебные классы. Зато потом все вместе будут читать письмо от дяди Феди, а завтра в баню пойдут.

Закрывая калитку, она ещё раз увидела счастливое личико и, пока шла по пустырю мимо колхозного сада, сама неведомо чему улыбалась и таяла, будто этот тихий октябрьский день, с пожухлой травой и опустевшими огородами, уже не вбирающими солнечного тепла, а согревающимися как бы своей внутренней памятью о нём. Мария Васильевна мимоходом подивилась погожести дня и тому, что самолёты не летают. Обычно в погожий день небо за железнодорожной станцией всегда усеяно парашютистами, иные один за одним раскрывают сразу по два парашюта. Слепленные, они напоминают сросшиеся грибочки и висят над горизонтом долго-долго, а потом растворяются в его белёсости, истаявают. Нити блескучей паутины на сухих стеблях бурьяна вдруг напомнили родную деревню Захарово под Смоленском. (Оттуда перед войной они со Степаном и Людмилой приехали в Приморье как переселенцы.) «У них там на Покрова хоть маленький снежок, а ложится», – грустно подумала Мария Васильевна и неожиданно решила, что на родину она когда-нибудь, а всё равно съездит, попроведает, благо сестра там. Мысль о поездке захватила её и мало-помалу вытеснила тревогу, вызванную письмом, а ясный осенний день своим лёгким





обманчивым теплом укрепил неизвестно откуда взявшуюся уверенность, что в письме сообщается о какой-то нечаянной радости для них.

Возле школы Мария Васильевна замедлила шаг, не то чтобы она надеялась встретить Аннушку или Марьюшку (такая надежда всегда с нею), а больше потому, что место это особое — здесь дети её учатся, негоже его, будто пугать, проскакать. Она шла понад забором и едва не столкнулась с директором школы, Михаилом Михайловичем Дундиным. Выходя со двора с кипой тетрадей, он строго окликнул её. Мария Васильевна ступевалась.

— Здравствуй, Михаил Михайлович, — поклонилась, — доброго здоровычка вам.

Михаил Михайлович слегка приподнял тёмно-серую фетровую шляпу с обвислыми полями, тоже остановился. Высокий, тощий, в расстёгнутой на все пуговицы потёртой кожанке, он казался Марии Васильевне осанистым и даже упитанным. Михаил Михайлович приехал в ихнее село после войны, жил бобылём, судачили, что пристаёт к молодым учительницам, а он вдруг уехал в Спасск и взял в жёны вдову с четырьмя детьми, белую и пухленькую, которую тут же устроил заведующей школьной библиотекой. Год назад у них родился сын. Выбор Михаила Михайловича тогда удивил многих, над ним пошумели, рассказывали всякие небылицы, а Мария Васильевна сразу приняла его сторону, но вслух одобрения не высказывала, опасалась, что ей могут приписать всякие дурные мысли — выбрал-то он такую, как и она, одинокую, с четырьмя детьми. И всё же это случайное сходство в выборе взволновало её, незаметно для себя она стала сличать всех мужиков с Михаилом Михайловичем, даже своего Степана примерила к нему. И хотя умом понимала, что всё это одна только глупость, для директора школы никакого такого сходства нет, терялась перед ним, чувствовала себя провинившейся школьницей. Михаил Михайлович словно бы догадывался

о её тайных мыслях, всегда разговаривал с нею строго, за малейшую безделицу отчитывал. Он и сейчас, страшая за легкомыслие (детей пускает в школу босиком), смотрел на неё, грозно насупив брови, мол, удумала невесть что и ходит, и ещё радуется. Между тем его строгость никогда не обижала Марию Васильевну, напротив, ей было приятно, что он строжится. В его голосе она улавливала и тепло, и ласку и не очень-то вдумывалась в смысл слов. Она слушала Михаила Михайловича, как слушают шум дождя. Шумит — ну и пусть шумит, дождь не может не шуметь. Уставившись в одну точку и потупившись, Мария Васильевна стояла как заворожённая — все заботы отлетели от неё. Если бы Михаилу Михайловичу вздумалось отчитывать её до вечера — она бы и до вечера простояла, не шелохнулась. Наконец, безнадежно махнув рукой, он разрешил ей идти. Она вздрогнула, не совсем понимая — куда идти. Потом, сообразив, суетливо подобралась, зашепила, боясь не его гнева, а того, что именно она может прогневить. Услышав внезапный оклик, вновь ступевалась, замерла.

— Чуть не забыл: пусть твои школьницы завтра найдут ко мне, получат обувь. И чтоб носили!

Мария Васильевна, не оглядываясь, согласно кивнула, ждала ещё какого-нибудь указания. Не дождалась, опять зашепила, заторопилась и, так и не посмев оглянуться, с облегчением свернула за угол.

Разговор с директором школы, в котором, кроме приветствия, она не проронила ни слова, всё же утомил её. Она шла опустошённая, каким-то шестым чувством угадывая, что эта её усталость особенная: от неё есть одно лекарство — Степан. Она даже наверняка знала, что стоит ей подумать о нём, о той ликующей ярмарке с розовыми петушками и серебряными бубенчиками — и усталость тут же развеется, улечится, точно морок дурного сна. Но она подумала о другом: ишь ты, конь вороной — свет в окошке! Над своей строжея, а то и не

посмотрю, что директор! Они как бы поменялись местами, теперь Мария Васильевна отчитывала, а он, Михаил Михайлович, стоял перед ней тихий, понурый, провинившийся. Куда ему до Степана? Степан весел, бодр, ласков, а этот... Мария Васильевна сама удивлялась — откуда что бралось и невольно подзадоривалась своим красноречием. Она до того увлеклась и до того у неё всё складно и убедительно получалось, что, увидев Дом офицеров, по сожалела, что уже пришла.

За уборку Мария Васильевна принялась не сразу, придержали напарницы, Ефросинья Худяк и Валентина Пикалёва. Ефросинья отдала давешний долг — пятёрку, её пострел пробрался к солдатской казарме и за каких-нибудь двадцать минут расторгнул наволочку подсолнечных семечек. Мария Васильевна эту пятёрку тут же одолжила Валентине, радуясь, что в состоянии одолжить, и предупредила, чтобы девчата на неё больше не рассчитывали, вскорости она сама будет одолжаться у них, потому как собирается съездить на родину, попроведать сестру. Девчата заохали: удумала — ближний свет... Попытались отговаривать, но она и слушать не стала, виновато улыбнулась, схватила вёдра, побежала опорожнить урны. Мария Васильевна ничего другого и не ожидала от своих товарок, она знала, что сейчас они поосуждают-поосуждают её за отчаянность, а когда съездит — её же и похвалит: молодец, не убоялась, они бы тоже так поступили. Помните, по её просьбе приделали крышки к ящикам для мусора, девчата сначала дулись на неё — лишняя работа, открывай их, закрывай, а нынче довольны — на заднем дворе чистота и порядок, не то что раньше — ветром разбрасает мусор, а им выговор.

Хваткость, с какою Мария Васильевна принялась за уборку классов, ей же и пошла на пользу. Начальник Дома офицеров прислал в помощь трёх солдат, сообща управились быстро, но всё же она маленько отстала от подруг, уборку своей территории на улице заканчивала одна.

Впрочем, Мария Васильевна не скучала.

К вечеру как будто ещё больше потеплело. Закатное солнце, выглядывая из-за самолётов, казалось земным, вернувшимся на свой аэродром светилом. В его длинном прожекторном освещении порозовели стены барачков, побелённый известкой штакетник — даже мусорные ящики выглядели обновлённо-праздничными. Бросив в кучу последнюю охапку листьев, Мария Васильевна подняла голову и увидела всё это: вдруг, разом и во всех направлениях. Воробьиная стая, что драчливо ворвалась в пустоту кроны и подняла там шум и гвалт, тотчас перенесла её на иной праздник.

...Людской гомон, толкотня. Ряды фанерных ларьков с яркими рисунками богатырей на стенах и грудами всевозможного товара на прилавках: скоб, хомутов, сапог, рулонов цветного шёлка, ситца и другой материи, рябшей в глазах пестротой красок. Ряженые продавцы (парни в малиновых рубахах с опояской, а девушки в сарафанах с орнаментом — волосы в косах под искрящимися коронами в водопадах разноцветных лент), и тебе товар подобрать, и сплясать, и частушку спеть: приходи, народ, расступись, народ! Весёлое брэнчанье балалаек, певучая дробь ложек, присядка, смех, плеск шаровар, свист, визг — всё это смешалось, крутилось, несло, расширяло круг. Если бы Марию Васильевну спросили: что за ярмарка, в какое время года она случилась? — вряд ли бы Мария Васильевна ответила. Она помнит и сытый парной дух пельменей и блинов, и сладковатый щекокущий ноздри запах дынь и арбузов. Она слышит сухой хруст поджаристой корочки румяных бубликов и звонкий, сочный, точно треск спелых яблок, хруст снега. Она видит закуряжавшие от горячего дыхания отвороты полушубков и мчащихся по зелёному ровному коврику ипподрома коней, вытянувшихся в бешеной скачке. Зима и лето, весна и осень — всё разом в полной естественности по-

тому, что главные на этой ярмарке — они, её Степан и она сама. Вот он, гибкий, широкоплечий (глаза синь-синью), ласково улыбаясь, подводит велосипед, сажает её на раму, она притворно пугается на поворотах, вскрикивает, а сердце смеётся, сердцу радостно. Или вот у счастливого столба Стёпушка разгорячённо сбрасывает на снег полушубок, стягивает самокатки — ворот алой косоворотки расстёгнут, льняной чуб набок, босиком подходит к столбу, высокому, гладкому, вытертому руками и ногами до лоснящегося блеска. Там на макушке приз — нарядные дамские полусапожки. Хлопцы подзадоривают Степана, а она стоит в кругу девчат, вся трепещет от понимания его затеи и от того, что вдруг не осилит он, не вызволит полусапожки, над нею смеяться будут, уже сейчас девчата посмеиваются — ходить тебе, Мария, в модных полусапожках, готовь ноженьки, снимай свои хлябалки. Стёпушка поплевал на ладони — и наверх, без роздыха почти до самой макушки добрался, только-то и надо вытянуть руку и — его полусапожки, но как на грех скользят ноги, срываются, никак не высвободит он руки. Мария Васильевна ни жива ни мертва, напряжинилась, как бы всей силой помогая ему. Он увидел и точно оперся о её плечо, рывком выпростал руку и так вместе с полусапожками съехал вниз. Хлопцы подхватили его, полушубок накинули на плечи — иди вручай своей царевне. Девчата и её вытолкнули — давай, Мария, встречай добытчика. Ещё и радость не прошла, а уже новый страх — ежли не пойдут, малы — тогда что?! Степан рад-радёшенек, протягивает ей полусапожки, они меховые, словно малые котятка в его больших руках. Мария Васильевна смотрит на них, и глаз оторвать нет сил. «Ты что, девка, окаменела? Примеряй, совсем застудишь парубка». Мужик будто отпрыгнул, тут же отлетел, едва не ударился головой о столб. А Степан только-то дёрнул плечом да переступил с ноги на ногу. И тут она увидела, что он всё ещё босиком. Сбросила войлочные боты, нырь ноженькой и обмерла — не лезут. «Да не на ту, не на ту надеваешь. Эко, девка, никак от радости ума лишилась!»

Впору пришлось полусапожки — будто по заказу сшили. И началось: ба-ры-ня, ба-ры-ня, судары-ня ба-ры-ня. Пока Стёпушка не сплясал — не обул самокаток. А уж когда обул — она вокруг него пошла. И на каблучках полусапожки, а ловко у неё выходило, потому как она догадливо привставала на носочки и враз привыкла к каблучкам, будто всегда на них ходила...

Мария Васильевна так живо переживала ту счастливую минуту, что, и очнувшись, какое-то время смотрела на яркие краски заката как на продолжение ярмарки. Когда шла домой, было такое чувство, будто она уходит со своего неоконченного праздника. Пусть уж лучше он уйдёт, она замедляла шаг, останавливалась, давая закату выгореть и погаснуть, прежде чем стукнет калиткой. А закат, словно догадываясь о её чувствах, тоже медлил, вначале горел в окнах и на цинковых крышах изб, потом на облаках, потом в самих розовых сумерках.



**ВИКТОР
СЛИПЕНЧУК**

ПОХОРОНКА

Продолжение.

Начало – на стр. 22–23

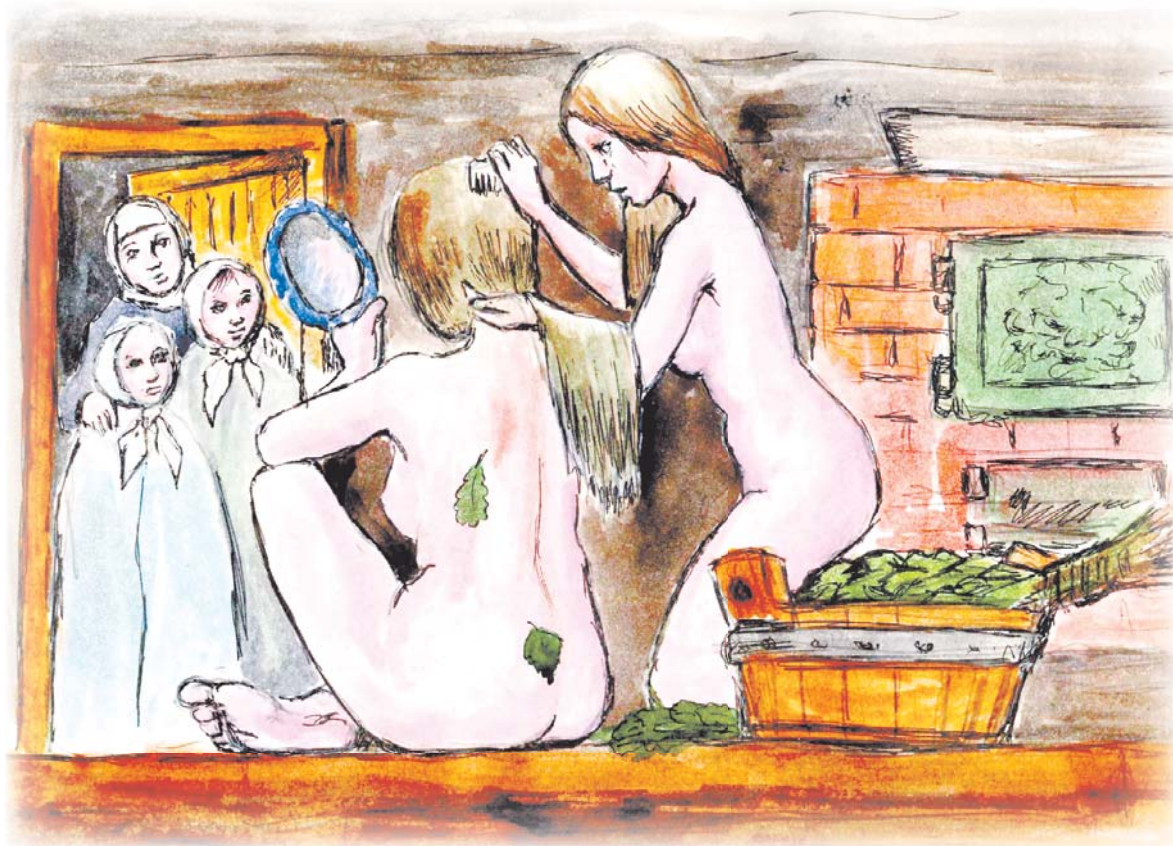
КОГДА Мария Васильевна минула пустырь и свернула в переулочек – закат погас, канул в мутную темень колхозного сада, и тотчас словно захлопнулось что-то в душе, погас и праздник, тоже канул в какую-то темень, будто и не было его. Она вздрогнула, испуганно ища взглядом свою избу, и та враз, как бы осознав неуместность игры в прятки, отозвалась, выглянула из сумерек ярко вспыхнувшим окошком. Хотя электрический свет вспыхнул разом по всему переулочку, Мария Васильевна увидела его отчётливо только в окошке над родным крыльцом. Выпрыгнул, будто на её зов, и приободрил, вселил уверенность, что праздник впереди, ждёт, дожидается её, точно письмо, спрятанное за рамкой с фотографиями.

У самой калитки встретила Людмила, подоткнув подол платья за пояс, выбежала выпростать таз с грязной водой.

– Мы уже и поужинали, и пол помыли, и занавески развесили, а тебя всё нет и нет. Всё где-то носит, – подражая матери и забавляясь своим подражанием, сказала Людмила и хохотнула: – Без ужина будешь, девка.

Мария Васильевна улыбнулась, но спросила со строгостью: все ли куры и ути? Людмила, пропуская её вперёд, кивнула и поинтересовалась: что о козе не справишься – поена ли? Они вошли в избу, тёплый дух только что истопленной печи ласково опанул их, Мария Васильевна радостно встревожилась, быстрым взглядом окинула кутник, она подумала, что коза Машка окотилась, что причиной всего этого тепла козлёночек.

На верёвке, протянутой под потолком, Марьюшка, стоя на табуретке, развешивала бельё, Аннушка и Танюшка, отряхивая, подавали. Увидев мать, они старались изо всех сил, нарочно не замечая её. Опасаясь выдать себя, прятали глазки, хмурились,



как бы полностью поглощённые серьёзностью своего занятия. Мария Васильевна замерла, наперёд зная, что Танюшка не выдержит и всё же глянет на неё. Так и есть, зыркнула глазоньками, натолкнулась на её весёлый взгляд и отвернулась, засмеялась Аннушке прямо в лицо. Теперь вдвоём глянули и, улыбаясь, занюхали:

– Ну чего ты, мамка, нам мешаешь!

– Молодцы вы у меня, работающие.

– Очень работающие, кабы не Марьюшка, они бы наработали.

Людмила по обыкновению с весёлым задором стала рассказывать, какую они тут грязь učinили, как вывозились, готовясь к завтрашней бане. Так что это благодаря им пришлось срочно затевать стирку. Мария Васильевна и сама видела, что все они, кроме Людмилы, в нижнем белье, но и то верно, ежели платье одно – его вечером стирают, чтобы к утру высохло.

После уборки ужинали, дети по второму разу. Людмила ухватила из печи чугунок с затирухой – мамкина порция, но Мария Васильевна сослалась, что где-то там, на работе, она уже ела, разлила болтушку детям, а сама только и выпила что кружку горячего смородинового чая. Она и в самом деле совсем не хотела есть и даже чай попила только для того, чтобы не привлекать к себе внимания и ещё надеясь уберечься от внутренней стылости, которая чем ближе приспело время чтения письма, тем твёрже схватывала грудь. Чтобы хоть как-то воспротивиться ей, Мария Васильевна, прежде чем вытащила конверт, постояла возле рамки с фотографиями – пожелтевшие снимки смотрели на неё совсем из другой жизни. Вот они втроём, Людмила в матросском костюмчике, острижена наголо, как мальчик, сидя на коленях у Степана, испуганно наклонила голову, а он, бравый, в новой косоворотке мило

так улыбается одними глазами. Себя Мария Васильевна рассматривать не стала, после этого у неё всегда пустеет сердце, будто та, в белом шарфе и жакете, похожая на молоденькую учительницу, вытягивает всю её душу, не оставляя ей ничего.

Письмо читала Марьюшка, как обычно, стоя под электрической лампочкой посреди горницы. Привилегии читать письма она была обязана своей врождённой серьёзности и строгости. Сосредоточенно-неприступная, она настолько прониклась чтением, так тонко улавливала нужную интонацию, что казалось, сама участвовала в написании письма. Впечатление её личного участия было настолько сильным, что Мария Васильевна всякий раз задабривала Марьюшку, припасая ей на этот случай какой-нибудь гостинец. Дорожа привилегией, Марьюшка не особенно пользовалась ею для корысти. Чуть-чуть повысит голос на Аннушку и Танюшку, затеявших спор из-за места на перевернутой табуретке, подождёт, пока все усядутся (Людмила на лавке с одной стороны стола, а мать с другой, поближе к ней) – и к письму. Она и сейчас, получив вместе с конвертом кусочек сахара, не обрадовалась ему, а осуждающе строго посмотрела на мать и безо всякого интереса положила его на стол, занялась письмом. Вначале она легонько постучала по нему сверху, посмотрела через него на свет, а уж потом только по пустой полоске чикнула ножницами, вскрыла. Всё это она проделала со свойственными ей сосредоточенностью и строгостью, так что Мария Васильевна, глядя на неё, горестно вздохнула.

– Ты уж, Марьюшка, помяче... не своевольничай.

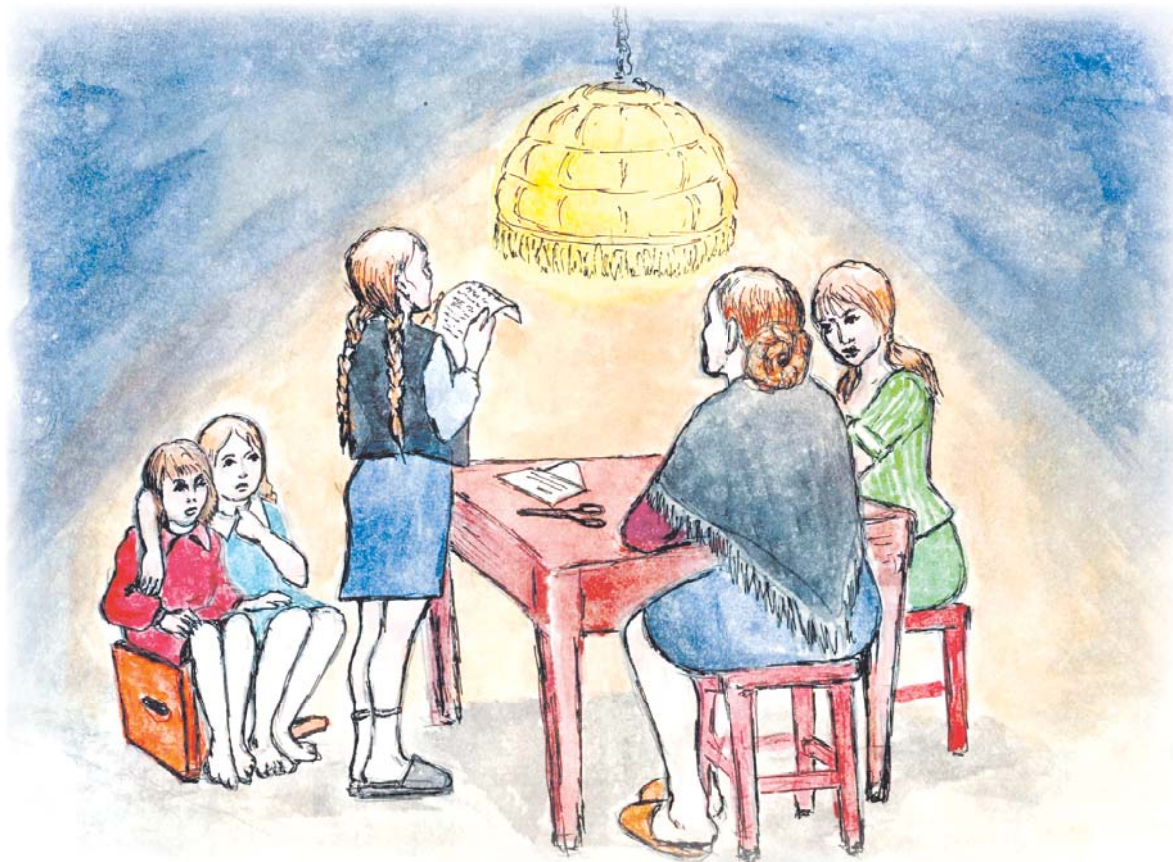
Письмо начиналось с приветственных поклонов и пожеланий доброго здоровья. Марьюшка останавливалась, давала матери время уяснить, от кого поклон. Только со второй странички письмо стало понятно им всем. Дядя Федя писал:

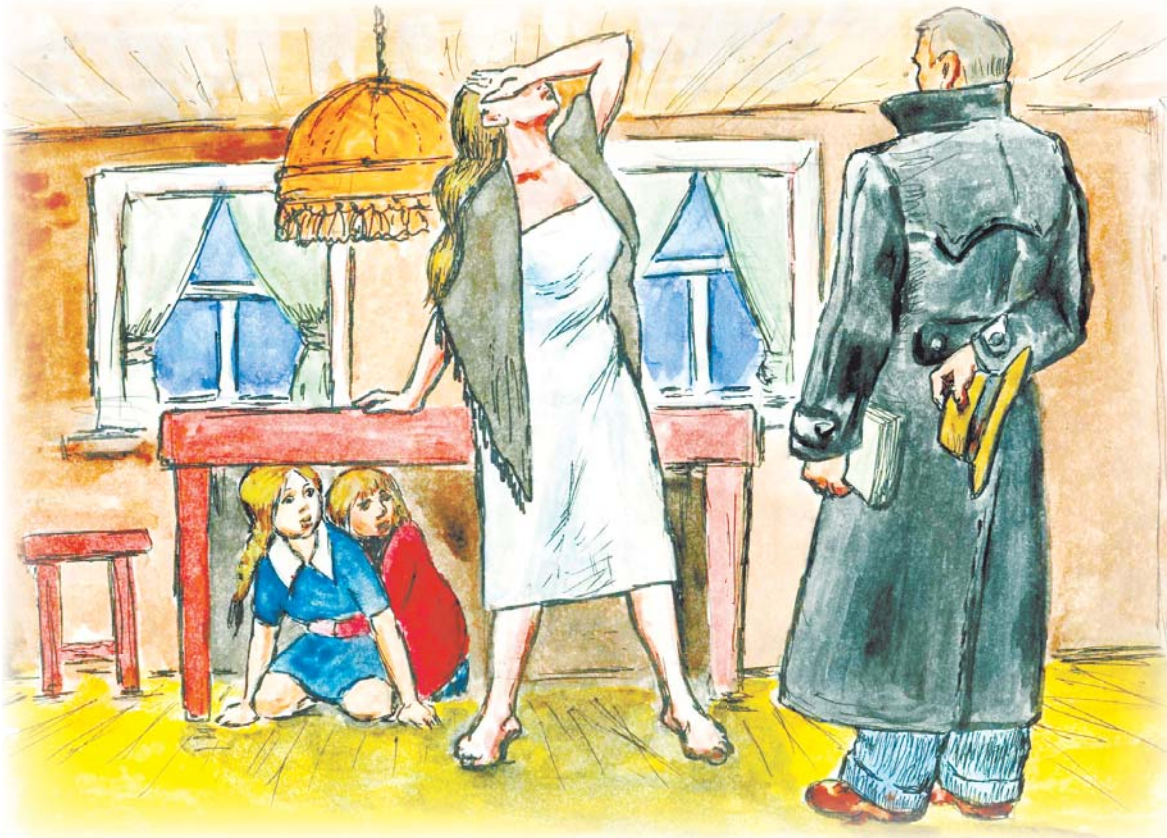
«На днях сын Юрий приезжает из города, от военкомата учился на шофера. Видел твоего Стёпку, он на базаре комодами торговал. Ты похоронку имеешь, а он комодами торгует, во, сватья, как!.. Юрка говорит: справный. Матрёна ездила, в чайную ходили... В сорок пятом выписался из госпиталя, бухгалтершу хозмага взял. Я, говорит, воевал, медалей и ранений полный воз, орденом Славы отмечен. У меня, куда ни оглянись, одна война кругом, всё загорела, кроме её, ничего не слышу, ни детей, ничего. У моей нынешней, говорит, так же, вот мы и вместе, а для Маньки я убитый. За то она и пособие на детей получает, убитый я, те её документы правильные. Ежели она не согласная, на меня нынешнего замахнётся, я с ней жить не буду, а алиментов с меня не очень, больше на дому столярничать, инвалидный я.

Такие, сватья, дела. Матрёна кляла его, а он ничего, устает в пол и молчит. «И меня для тебя нету?!» Говорит: умом есть, вижу, а сердцем нету, пусто. И молчит, молчит... Она к нему три раза ездила, а этот раз не пустил, хворать стала. Ну раз потерял себя человек... Сватья, тяжело оно, да адрес вот он... (Написал адрес, почеломкался.) Мария, Христом богом прошу, не ездь, хватит, Матрёну извёл. Будь твой Стёпка живой, али бы не приехал к тебе?! Вот то-то... Фёдор».

Письмо оглушило. Марьюшка прочла, оцепенела. Анька и Танька на что дети, а тоже замерли, не шелохнутся, всё внимание на мамку. Мария Васильевна сидела, выпрямившись, положив руки на колени. Из-под белой косынки, стянутой на лбу в узелок, выбивались космы тёмно-русых волос. Работа, ежедневные хлопоты по хозяйству, нехватки отнимали всё её время. Проблески, конечно, были. Выберутся иной раз в баню, Людмила Марьюшку охаживает веничком, а она Аннушку и Танюшку оттирает, моет, потом выпроводит их одеваться, а сами с Людмилой улягутся на полке, отходят. Прилёт кровь к щекам, будто и не было войны. Выйдет в предбанник, отождёт волосы, дети уставятся: мамка это или не мамка?! Телом молодая, стройная, глаза словно синькой подголубила – голубые-голубые! Улыбнётся: уже оделись, похвалит, проворные вы у меня, и выпроводит туда, в зал. Присядет на лавку, Людмилу ждёт, а сама и не видит, что Людмила рядом обтирается полотенцем. Ожившее тело своей памятью обогревает, обволакивает, и до того не хочется втискиваться в вылинявшие одежды, что невольно сожмётся нутром и, словно натолкнётся на какой-то неодолимый предел, вдруг вздрогнет, очнётся и, испугавшись, заторопится – дел столько!..

Мария Васильевна и после прочтения письма вдруг вздрогнула: Людка, чего я говорила... живой он, живой! Подхватила: сижу, а работы невпроворот!.. Но тело уже обмерло: ежели нет Стёпушки, зачем всё?! Обессилело тело, ступила Мария Васильевна два шага и как подрубленная упала на кровать. Казалось, что сейчас только коснётся по-





душки, и слёзы так и хлынут, и она выплечется, освободит душу, — но нет, будто камнем взялось всё внутри. Дети попадали на неё и в голос, мамка, не реви, ма-амка! Сообща, как в тот раз, когда похоронку принесли. Наверное, поэтому приблизилось ей, что ещё война кругом и это по её злой воле опять пришла та самая похоронка. Мария Васильевна медленно поднялась, дети примолкли, глядя, как она рассеяно покрутила письмо и машинально, точно в беспомыслии, стала искать что-то, заглядывая то за рамку с фотографией, то за портрет вождя, а то просто забывчиво шаря руками по своей плюшевой жакетке. Она никого не замечала и вела себя так, словно была одна в горнице.

— Ма, ищешь чего? — встревожилась Людмила. И Мария Васильевна, внезапно опомнившись, испуганно охнула: вот уж истинно вчерашний день ищет — прямо затмение какое-то. Она, конфузясь, жалостливо попросила, чтобы дети постелили ей, она маленько приляжет возле обогревателя, а как только в голове прояснится — сейчас же встанет, дел столько.

Однако Мария Васильевна не встала ни сейчас, ни на следующий день. Всю ночь её знобило, даже в зыбком полусне она чувствовала, как со всего тела холод стягивается к сердцу и схватывается в комок, в грудь словно вложили кусок льда. Всякий раз перед новым приступом у неё отнимался язык и деревенели ноги, Мария Васильевна ощущала их толстыми неподвижными колодками. В беспокойстве, словно бы силясь что-то вспомнить, она привставала, тревожно обшаривала глазами углы, стены. Людмила, карауля каждое её движение, наклонялась, помогала ей теснее придвинуться к обогревателю. Прижимаясь к тёплым кирпичам, Мария Васильевна чувствовала, как вместе с теплом в её сердце вливается острая режущая боль, которая точно раскалёнными стрелами впивалась в виски, наполняла голову пламенем. Она со стоном откидывалась на подушку, впадала в беспомыслие. В бреду к ней возвращалась речь, а лицо и тело покрывались бурными пятнами и

испаринной. Мечась, она сбрасывала со лба влажное полотенце, прося Людмилу отослать ему его похоронку.

— Пусть получит, пусть! — болезненно напрягаясь, торжественно она и, чутко вслушиваясь в робкие Танюшкины всхлипы, презрительно улыбалась, как бы ограждая своим презрением от кого-то невидимого и ненавистного.

К вечеру следующего дня на зелёном фургоне военной скорой помощи приехал из медсанбата врач. Открыв кожаный с глухими перегородками сундучок, он прежде мединструментов достал две плитки шоколада и пачку сухого печенья с выдавленным на печенюшках словом — «счастье». Осмотрев Марию Васильевну, врач сделал укол и, подождав, пока она уснула, прощупал пульс. На улице, передавая сундучок пожилому усатому шофёру с погонами старшины, он сказал, что подобное наблюдал только на фронте, какой-то частный случай — все симптомы тяжелейшей контузии. Глядя на детей — выстроились на крыльце, молчаливо ловят каждое его слово — превеличленно приободрился.

— Главное — не волновать, тишина и покой. Неуверенно пообещал: — Через денька два на поправку пойдёт.

И опять повторил, что главное — тишина и покой, он ещё наведается.

Через два дня приступы и в самом деле прекратились. С работы пришли проведать Марию Васильевну Ефросинья Худяк и Валентина Пикалёва. Валентина вернула пятёрку, а Ефросинья трёшку, которую когда-то она якобы занимала, а в срок отдать запаматовала. Вообще все соседи и знакомые обязательно приносили какие-то забытые долги. На что начальник Дома офицеров, и тот ничего нового не открыл, на минуту заскочил на «виллисе», привёз бумажный мешок макарон и несколько банок сгущённого молока и говяжьей тушёнки, которые тоже, оказывается, были вырешены Марии Васильевне за хорошую работу ещё в прошлом квартале, но всё не представлялось оказией доставить. Все продукты и деньги принимала Людмила и тут же передавала Марьюшке, под её строжайший учёт. Анька и Танька, бегая по улице в новых

обутках, полученных в школе, не скрывали своей радости, что мамка, внезапно заболев, научилась ходить и говорить.

— Нам все столько много должно! — хвалясь, рассказывали они подружкам.

Одна Мария Васильевна не проявляла никакого интереса ни к соседям и знакомым, ни к их подаркам. На целые сутки она задумывалась о чём-то своём, а забота и внимание окружающих даже как будто докучали ей. Иногда казалось, что кроме своих детей она не узнаёт никого и одних людей принимает за других. Людмила и Марьюшка, точно малому ребёнку, с трудом скармливали ей за день две-три толчёные печенюшки. Военный врач, требовавший тишины и покоя, самолично убрал шторы, а кровать пододвинул к окну, чтобы, как он сказал, сама жизнь расшевелила Марию Васильевну — жизнь для неё теперь лучший лекарь.

И опять его слова подтвердились. Особенно заметно оживилась Мария Васильевна, когда окотилась коза и дети внесли в кутник на свежий золотистый подстил из пшеничной соломы двух ещё влажных белолобых козлят. Один из них, с чёрными круглыми пятнами вокруг глаз, напоминающими очки, уже через несколько минут, шатаясь, вставал на разьежающихся копытцах и, взбрыкнув, падал головой на своего братца. Настойчивость, с какою он поднимался и падал, как будто придавала силы и Марии Васильевне. Опираясь о стену, она впервые с помощью Марьюшки вышла на улицу, а потом с палочкой уже и сама добиралась до завалинки. Врач, застав её на крыльце, до того обрадовался перемене, точно это он сам сделал свои первые шаги. Речь тоже начинала возвращаться, с трудом, но уже можно было догадаться, что она просит воды или подбить подушку. Правда, успехи Марии Васильевны несколько обрадовали доктора, постепенно настолько же и встревожили. Он было хотел передвинуть кровать за занавески, но натолкнулся на полный отчаяния умоляющий взгляд, махнул рукой, дескать, ладно. Но, как и прежде, потребовал тишины и

покоя. Уходя, он более обычного был шутилив, вместе с Аннушкой и Танюшкой погладил козлят и, не в пример первому разу, обещал твёрдо — мать скоро поправится.

Его твёрдость, кажется, даже Марии Васильевне подняла настроение. И хотя, лаская взглядом козлят, она грустила, лицо часто озарялось тихой улыбкой. Глядя в окно, Мария Васильевна успокаивалась. Наверное, поэтому Марьюшка, надумав вслед за Людмилой сходить к подруге, строго-настроено наказала сёстрам сидеть дома, а матери — больше смотреть на улицу. Аннушка и Танюшка ей не перечили, имели свой интерес. Как только они останутся одни — мать сейчас же часть сладостей отдаст им. Так и случилось. Едва за Марьюшкой закрылась дверь, как мать подозвала их к своей табуретке, на которой лежали печенье и кусочек шоколада. Аннушка и Танюшка вначале отнекивались, но мать одну и другую так ласково погладила по голове, показав глазами, что будет смотреть в окно, сторожить Марьюшку на тот случай, если она вернётся, что они согласились, но пока только на шоколад.

Делая уроки, дети изредка поглядывали на мать, готовые тотчас мчаться на её зов, но она повернулась к окну, лежала тихо, словно уснув, и они позабыли о ней. Мать сама напомнила о себе. Аннушка и Танюшка, поспорив из-за чернильницы (каждая норовила подвинуть её поближе к себе), услышав стон, пронзительный, точно окрик, поначалу приняли его на свой счёт, но потом, увидев, что мать приподнялась и не отрывается от окна, подумали, что это она предупреждает их о возвращении Марьюшки. Но нет. Длинными гортанными звуками, силясь преодолеть немому и, в конце концов, захлёбываясь ею, она, побагровев, в волнении стала размахивать руками и громко стучать в окно, как будто старалась отстраниться от него, но почему-то опять к нему притягивалась.

Стукнула калитка, Аннушка и Танюшка увидели директора школы Михаила Михайловича Дундина. В серой обвислой шляпе и длинной потёртой кожанке, расстёгнутой на все пуговицы, он недовольно крутил головой, словно бы высматривал хворостину. Занятый своими мыслями, директор школы не обращал никакого внимания на суматошные, полные ужаса звуки Марии Васильевны. Анька и Танька, не понимая звываний матери, испуганно нырнули под стол. Негодуя, Мария Васильевна вскочила с кровати, нечаянно опрокинув табуретку, — ей пригрезилось, что её Степан вернулся. Но в тот самый миг, когда Михаил Михайлович вошёл в горницу, она узнала его, в смятении пошатнулась, отчётливо чувствуя, как под ступнёй что-то мягко хрустнуло и гугуче ударило в сердце. Она застонала, силясь понять — что это? Но не смогла — для неё всё кончилось. И только детям, в страхе затаившимся под столом, было видно, что это хрустнула раздавленная печенюшка...

1983

Официальный сайт писателя
www.slipenchuk.ru

Рисунки Александра ДАНИЛКИНА

